

Борис
Гройс

—

Русский
КОСМИЗМ

антология

Борис Гройс

Русский космизм. Антология

«Ад Маргинем Пресс»

2015

УДК 141.339(091)(47+57)
ББК 87.3(2)53-688

Гройс Б.

Русский космизм. Антология / Б. Гройс — «Ад Маргинем Пресс», 2015

ISBN 978-5-91103-245-6

Антология «Русский космизм», составленная философом и арт-теоретиком, профессором Нью-йоркского университета Борисом Гройсом, представляет как известные, так и малознакомые тексты, помещая их в контекст современной социальной и политической теории. «Русский космизм» предстает у Гройса предтечей современной концепции власти и политики как «биовласти» и «биополитики», а базовые для «космистов» понятия бессмертия и музея оказываются в центре нынешних дискуссий о «постгуманизме» и новой «музеологии». В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 141.339(091)(47+57)

ББК 87.3(2)53-688

ISBN 978-5-91103-245-6

© Гройс Б., 2015

© Ад Маргинем Пресс, 2015

Содержание

Борис Гройс	6
Николай Федоров	14
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Борис Гройс

Русский космизм

Антология

Тексты антологии печатаются в порядке и логике публикатора. В статьях сохранены пунктуация и орфография оригинальных источников.

Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс»

© Борис Гройс, 2015

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015

© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2015

* * *

Борис Гройс

Русский космизм: биополитика бессмертия

Русский космизм не представляет собой целостного учения. Скорее речь здесь идет о круге авторов конца XIX – начала XX веков, для которых видимый космос стал единственным местом жизни человека – после краха исторического христианства с его верой в реальность загробного, потустороннего мира. Из этого открытия, или, точнее, из этой утраты, можно было сделать различные выводы. Одним из таких распространенных в то время выводов был отказ от мыслей о личном бессмертии и судьбе мира в целом: человеку предлагалось ограничиться временными границами его конечной земной жизни и кругом забот, связанных с этой жизнью. Теоретики русского космизма сделали противоположный вывод из «смерти Бога». Они призывали человечество к установлению тотальной власти над космосом и к обеспечению индивидуального бессмертия для каждого живущего или жившего раньше человека. Средством реализации этого требования должно было стать централизованное мировое государство: русский космизм был не только теоретическим дискурсом, но и политической программой. У Мишеля Фуко есть знаменитая фраза, в которой он определяет принцип функционирования современного государства – по контрасту с функционированием суверенного государства традиционного типа. Принцип традиционного государства: «Разрешай жить и даруй смерть»; тогда как принцип современного государства: «Даруй жизнь и разрешай умереть»¹. Современное государство озабочено проблемами рождаемости, здоровья и обеспечения жизнедеятельности населения. Таким образом, по Фуко, современное государство функционирует в первую очередь как «биовласть»: оправдание его существования – в том, что оно обеспечивает выживание человеческой массы, человека как биологического вида. Однако если выживание популяции и является государственной целью, то «естественная» смерть отдельного индивидуума принимается государством пассивно как неизбежное событие. То есть естественная смерть выступает в качестве естественной границы государства как биовласти. Современное государство принимает эту границу, уважая частную сферу естественной смерти. Кстати, сам Фуко также не ставит эту границу под сомнение.

Но что было бы, если бы биовласть решилась радикализировать свою программу и сформулировать свой девиз так: «Заставляй жить и не позволяй умереть»? Иными словами, если бы она решилась на борьбу с «естественной» смертью? Можно предположить, что такое решение показалось бы утопичным. Но именно такое требование абсолютной биовласти сформулировали многие русские мыслители до и после Октябрьской революции.

Сторонники тезиса о том, что индивидуальное бессмертие каждого человека должно стать целью всего общества и всей государственной политики, не принадлежали, за малым исключением, к кругам марксистской интеллигенции. В отличие от социальных требований марксизма, требование биополитики бессмертия происходило из чисто русского источника: из работ Николая Федорова. «Философия общего дела», которую Федоров разработал в конце XIX века, не привлекла широкого внимания при жизни философа. Тем не менее среди ее знаменитых читателей были Лев Толстой, Федор Достоевский и Владимир Соловьев. После смерти философа в 1903 году популярность его теории неуклонно росла, хотя и ограничивалась преимущественно российской публикой. В своей основе проект общего дела заключается в создании технологических, общественных и политических условий, которые позволили бы воскресить – техническими средствами – всех когда-либо живших на Земле людей. Федоров

¹ Michel Foucault. Society Must Be Defended: Lectures at the College de France, 1975–1976, trans, David Macey (New York, 2003), pp, 241 ff.

не верил в бессмертие души и не был готов пассивно ожидать второго пришествия Христа. Несмотря на свой несколько архаичный язык, Федоров был плоть от плоти своего времени, конца XIX века. Соответственно, Федоров верил не в душу, а в тело. Для него физическое, материальное существование было единственной возможной формой существования. И так же непоколебимо Федоров верил в технику: коль скоро все сущее материально, то все оно доступно любым манипуляциям с помощью технологии. А более всего Федоров верил в силу социальной организации. По его мнению, все, что было нужно, чтобы посвятить себя делу искусственного воскрешения, – это просто принять соответствующее решение. Как говорится, если цель намечена, средства отыщутся сами собой.

Таким образом, проблема бессмертия передавалась из рук Бога в руки общества или даже государства. Здесь Федоров реагирует на внутренние противоречия социалистических теорий XIX века, которые обсуждались и другими мыслителями его эпохи, прежде всего Достоевским. Социализм обещал доведенную до совершенства социальную справедливость. Но социализм также отождествлял это свое обещание с верой в прогресс. Эта вера подразумевает, что только будущим поколениям, которые будут жить в новом социалистическом обществе, будет дарована социальная справедливость. Нынешнему и прошлым поколениям, напротив, отводится роль пассивных жертв прогресса: для них вечной справедливости не предусмотрено. Таким образом, будущие поколения смогут наслаждаться социалистической справедливостью только за счет циничного признания вопиющей исторической несправедливости: исключения прошлых поколений из царства справедливости. Таким образом, социализм предстает как эксплуатация мертвых в пользу живых – и как эксплуатация ныне живущих в пользу тех, кто будет жить после них. Поэтому социалистическое общество нельзя назвать справедливым: ведь оно основано на дискриминации прошлых поколений в пользу будущих. Социализм будущего лишь тогда может претендовать на звание справедливого общества, если поставит себе целью искусственно воскресить все те поколения, которые заложили фундамент его благополучия. Тогда эти воскрешенные поколения также смогут наслаждаться благами будущего социализма, что отменит дискриминацию мертвых по отношению к живым. Социализм должен быть установлен не только в пространстве, но и во времени – при помощи технологии, которая позволит превратить время в вечность. Это также позволит выполнить обещание братства, данное, но не выполненное буржуазной революцией наряду с обещаниями свободы и равенства. Поэтому Федоров называет буржуазный прогресс «не братским» и считает, что на его место должно прийти братство всех живых, но прежде всего – всеобщий долг перед нашими умершими предками.

Проще всего объявить такой проект утопическим или даже фантастическим. Но в своем проекте Федоров впервые последовательно формулирует вопрос, актуальный и по сей день. Вопрос этот таков: как может человек обрести личное бессмертие, если он всего лишь бренок тело среди других бренок тел – и ничего больше? Или, иными словами: как можно быть бессмертным в отсутствие онтологической гарантии бессмертия? Самый простой и расхожий ответ предлагает нам всем попросту махнуть рукой на поиски бессмертия, довольствоваться конечностью нашего существования и принять нашу смертность. Такой ответ реально существующей биовласти описывает Фуко. Однако у такого ответа есть фундаментальный недостаток: он оставляет большую часть нашей цивилизации без объяснения. Одно из явлений, остающихся без объяснения, – феномен музея.

Как верно замечает Федоров, само существование музея противоречит всецело утилитарному, прагматическому духу XIX века². Ибо музей тщательно сохраняет именно ненужные, бренок вещи из прошлых веков, более не имеющие практического применения «в реальной жизни». В отличие от «реальной жизни», музей не принимает смерть и разрушение этих вещей.

² См. Николай Федоров. Музей, его смысл и назначение. Наст. изд. С. 32–136.

Таким образом, музей находится в фундаментальном противоречии с идеей прогресса. Прогресс состоит в том, чтобы замещать старые вещи новыми. Музей, наоборот, есть машина для продления жизни вещей, для их обессмерчивания. Поскольку человек – это тоже тело среди других тел, вещь среди других вещей, то в принципе музейное бессмертие может распространяться и на человека. Бессмертие для Федорова – не рай для душ, но музей для человеческих тел. Взамен христианского бессмертия души мы получаем бессмертие вещей или тел в музее. Взамен божественной благодати – кураторские решения и технологии музейной консервации.

Технология музейного хранения играла для Федорова при этом важнейшую роль. Федоров оценивал технологию XIX века как внутренне противоречивую. По его мнению, современная ему технология служила прежде всего моде и войне – то есть конечной, смертной жизни. Именно по отношению к такой технологии можно говорить о прогрессе, потому что она постоянно меняется вместе со временем. Одновременно эта технология разделяет поколения людей: у каждого поколения своя технология и каждое – презирует технологию предшественников. Но технология существует также как искусство. Федоров понимает искусство не как дело вкуса или эстетики. В его понимании такую роль скорее играет мода. Технология искусства для Федорова – это технология сохранения или возрождения прошлого. В искусстве нет прогресса. Искусство заключается в иной технологии или скорее в ином использовании технологии, которая служит уже не конечной, но бесконечной, бессмертной жизни. При этом, однако, искусство обычно работает не с самими вещами, но с образами вещей. Из-за этого такие функции искусства, как сохранение, спасение, возрождение, остаются радикально не востребованными. Поэтому искусство необходимо понимать и использовать по-другому: оно должно быть применено к людям и сделать их бессмертными. Все когда-либо жившие люди должны восстать из мертвых в качестве произведений искусства и быть помещенными на хранение в музеи. Технология в целом должна стать технологией искусства. А государство должно стать музеем населения. Точно так же как администрация музея отвечает не только за коллекцию в целом, но и за сохранность каждого отдельного экспоната и обеспечивает его реставрацию, если ему грозит разрушение, так и государство должно нести ответственность за воскрешение и вечную жизнь каждого человека. Государство более не может позволять людям умирать естественной смертью и позволять мертвым покоиться спокойно в своих могилах. Государство обязано преодолеть границы смерти. Биовласть должна стать тотальной.

Такой тотальности можно достичь, только уравнив искусство и политику, жизнь и технологию, государство и музей. Характерно, что для Фуко пространство музея было «иным пространством» (*heterotopia*). Он говорил о музее как о месте, где накапливается время. Для Фуко именно это отличало музей от пространства практической жизни, в котором такого накопления не происходит³. Федоров, напротив, стремился объединить пространство жизни и пространство музея, преодолеть их разнородность, которую он считал скорее идеологически мотивированной, нежели онтологически обусловленной. Для такого стирания границы между жизнью и смертью нужно не внедрять искусство в жизнь, но скорее радикально музеифицировать жизнь – жизнь, которая может и должна получить привилегию бессмертия в музее. Благодаря такому слиянию жизненного и музейного пространств биовласть получает бесконечную перспективу: она становится социально организованной технологией вечной жизни, которая более не признает индивидуальной смерти и не останавливается перед смертью как своим «естественным» пределом. Такая власть, конечно, уже не «демократическая» власть: никто не ожидает от музейных экспонатов, что они будут выбирать себе куратора, который станет заботиться об их сохранности. Как только человек становится радикально современным – то есть как только его начинают понимать как тело среди тел, вещь среди вещей, – ему приходится смириться с тем, что и государственная технология начинает относиться к нему соответственно.

³ Michel Foucault. Of Other Spaces, trans. Jay Miskowiec, *Diacritics* 16, no. 1 (1984): 22–27, esp. p. 26.

Однако для такого смирения существует обязательное условие: четко заявленной целью новой власти должна быть вечная жизнь на Земле для всех людей. Только в этом случае государство перестает быть частичной, ограниченной биовластью – такой, как она описана у Фуко, – и становится тотальной биовластью.

Учение Федорова было, как и многие другие философские дискурсы в России конца XIX века, реакцией на пессимистическую философию Шопенгауэра и ее критику у Ницше. Ницше провозгласил борьбу с нигилизмом главной задачей европейской мысли, и многие философы – от Хайдеггера до Батая и Делёза – последовали за ним. Русская мысль не составила исключения. Достаточно назвать имена Владимира Соловьева, Александра Богданова и Михаила Бахтина. Все эти в остальном столь разные авторы видели в победе над нигилизмом главную цель своей философской программы. Но что есть нигилизм для Ницше? Под нигилизмом Ницше понимал решение сказать «нет» материальному миру, приносящему человеку страдание и смерть, отвернуться от реальности в пользу воображаемого мира, будь то трансцендентный мир религии или утопический мир будущего. Ницшеанский пафос принятия реального мира как трагического, недоступного рациональному познанию присутствует у Батая, Бахтина, Делёза. Дионисийское начало, растворяющее мир в хаосе, есть для Ницше также источник витальной энергии, так как истинная жизнь понимается им как постоянная готовность к смерти. Сказать миру «да» означает также сказать смерти «да».

Русский космизм выбирает, однако, другой путь преодоления нигилизма. Подобно Ницше, он отказывается от «борьбы с миром» во имя трансцендентного идеала – будь то религиозного, этического или политического. Но мир видится Федорову и другим русским космистам не Хаосом, а Космосом, т. е. не угрозой жизни, а ее домом. Разумеется, понимание мира как Космоса, т. е. порядка, обеспечивающего возникновение и продолжение жизни, а не Хаоса, несущего с собой смерть, является актом веры. И сам Федоров охотно подчеркивает происхождение этого понимания из христианской традиции. Но дело в том, что ницшеанское видение мира как противоборства Аполлона и Диониса, в котором дионисийские силы хаоса по меньшей мере периодически побеждают, также можно считать актом веры. Сам Ницше указывает на это, отсылая читателя к дуализму зороастризма.

Человек не может вынести ситуации тотального хаоса, который уничтожает все предпосылки его биологического существования, – а ницшеанский сверхчеловек все еще так и не родился. Таким образом, тотальный хаос, или дионисийское начало, оказывается умозрительной конструкцией, которой не соответствует никакой эмпирический человеческий опыт. Даже рассуждая о хаосе, мы продолжаем жить в космосе. Более того, именно вера в устойчивость космоса позволяет нам рассуждать и писать книги об угрозе хаоса. Только если мир есть космос, а не хаос, технология, включая и технологию дискурса, становится возможной. Технология не является тогда, как считал Хайдеггер, продолжением традиционной метафизики, утверждающей (нигилистическое) господство вне-мирского субъекта над миром. Вера в технологию оказывается здесь выражением принятия мира, а не средством борьбы с миром. То же относится и к пониманию космистами искусства. Для Ницше эстетическое оправдание мира означало эстетизацию смерти. Для русских космистов эстетизация человека означает его музеелизацию – искусство становится технологией бессмертия. Да, человек есть всего лишь часть мира – он не стоит над миром и не владеет им. Но именно поэтому человеческая мысль провозглашается русскими космистами силой, которая может преобразовать мир. Действительно, в сочинениях русских космистов космос, если использовать модную в то время неокантианскую формулу, «не дан, а задан». У Федорова, Муравьева, Циолковского и других авторов русского космизма центральным понятием является «проект», или «план». Вселенная станет поистине космосом, если будет преобразована в соответствии с единым планом, который поставит человечество и его интересы в центр космической жизни. То же можно сказать и об «организационной науке» Богданова, как она описана в первую очередь в его основном труде «Тектоло-

гия»⁴. Здесь также целью человеческой деятельности объявляется тотальная организация всей космической жизни.

На этом месте у современного читателя почти автоматически возникает следующее возражение. Любые планы и проекты суть всего лишь мысли или даже скорее мечты. А в реальном мире мысль как таковая бессильна. Мысль не может переделать мир – она остается запертой в голове думающего. Убеждение в бессилии мысли является следствием секуляризации. Верующий христианин убежден в том, что мир движется мыслью Бога и что, следовательно, разум, Логос управляют миром. Секуляризация привела, напротив, к убеждению, что мир движется иррациональными, чисто материальными энергиями – и именно потому хаотичен. Ницше и его последователи не говорят ничего другого: смерть Бога означает вступление разума в зону бессилия. Сам человек как часть мира перестает быть субъектом разума и становится лишь объектом приложения материальных сил, которые манифестируются в нем как подсознательные, неконтролируемые влечения.

Такую трактовку разума можно назвать следствием его частичной, неполной секуляризации. Действительно, мысль может считаться бессильной и оторванной от жизни, только если она продолжает полагаться как онтологически отличная от материального мира – или, иначе говоря, все еще рассматривается в теологической, метафизической перспективе, которая противопоставляет дух материи. Аргументация космистов была направлена именно против этого крипто-теологического понимания мысли. Для Муравьева, Циолковского или Богданова мысль есть материальный процесс, происходящий в человеческом мозге. И этот процесс с самого начала связан с другими космическими процессами: между разумом и миром нет онтологического разрыва. Разум является лишь эффектом процессов самоорганизации материи, происходящих во всей материальной вселенной. Человеческий мозг есть часть вселенной – и потому может активно участвовать в организации космоса в целом. Согласно знаменитой формуле Ленина, «идея, овладевшая массами, становится материальной силой». Но согласно воззрениям космистов, идея с самого начала является материальной силой – и только поэтому может овладеть массами и даже космической жизнью в целом.

Впрочем, скептицизм современного читателя относительно проектов русского космизма может иметь не столько онтологический, сколько политический характер. Ведь именно: эти проекты рисуют общество будущего централизованным, коллективистским и иерархически организованным. Во главе этого общества стоят ученые и художники, определяющие его организацию и его цели. Подобного рода центральное планирование представляется сегодня политически скомпрометированным. Современными массами овладела идея, согласно которой мотором прогресса является конкуренция частных интересов. Но здесь снова общественная мысль останавливается на полпути. На практике конкуренция только тогда хороша, когда в ней участвуют немногие, а большинство населения из нее исключено. Если же большинство населения включается в конкуренцию, то каждый начинает заботиться о том, чтобы планы всех других провалились. Развитое общество конкуренции, в котором участвует все население, неизбежно принимает форму борьбы всех против всех. Космизм предлагает солидарность и участие в коллективном проекте в качестве альтернативы обществу всеобщей конкуренции. Насколько политическая программа космизма реалистична в наши дни, трудно судить. Сегодня она реализуется, пожалуй, только во внутренней структуре крупных корпораций, типа Google и Apple, которые, однако, продолжают оперировать в конкурентной среде.

В своем первом манифесте (1922) представители партии биокосмистов-иммортиалистов, имевшей корни в русском анархизме, писали: «Существенными и реальными правами личности мы считаем ее право на бытие (бессмертие, воскрешение, омоложение) и на свободу

⁴ Александр Богданов. Тектология. Всеобщая организационная наука. Впервые напечатана: Berlin – St.-Petersburg, 1922. Цит. по изданию: Москва: Финансы, 2003. С. 242–250.

передвижения в космосе (а не мнимые права, провозглашенные в декларации буржуазной революции 1789 г.)»⁵. Один из ведущих теоретиков биокосмизма Александр Святогор подверг фундаментальной критике классическую доктрину анархизма, указав, что, для того чтобы обеспечить право каждой личности на бессмертие и свободу передвижения в космосе, необходима централизованная власть⁶. То есть Святогор рассматривает бессмертие одновременно как цель и условие будущего коммунистического общества: ведь истинная общественная солидарность возможна только среди бессмертных; невозможно до конца избавиться от частной собственности, пока каждый живущий владеет своим частным отрезком времени. Бессмертие – высшая цель каждой личности. Поэтому личность всегда будет верна обществу, если общество сделает бессмертие своей целью⁷. В то же время только такое тотальное общество сможет дать своим гражданам возможность жить не только вне временных границ, но и вне границ пространственных: коммунистическое общество бессмертных будет также «интерпланетарным», то есть займет собой все космическое пространство. Святогор пытается отличить свои взгляды от взглядов Федорова, называя последнего старомодным и даже архаичным, потому что, как считает Святогор, Федоров чрезмерно подчеркивает, что всех людей объединяют родство и братство⁸. Но в то же время сходство между проектом Федорова и программой биокосмистов более чем очевидно. Хотя идея космоса как места бессмертия имеет свое происхождение в христианстве, она является наиболее последовательным отрицанием религии. Для победы над религией недостаточно сказать, что бессмертия нет и запретить людям стремиться к бессмертию. Концепция технического воскрешения может быть понята как последний шаг в процессе секуляризации, ибо секуляризация остается лишь частичной, покуда она только отрицает, ограничивает и аннулирует те надежды, желания и требования к жизни, которые формулирует религия.

Пройденный биокосмистами путь от радикального анархизма к признанию советской власти как (возможной) тотальной биовласти характерен и для многих других «попутчиков» Октябрьской революции. Например, Валериан Муравьев из яростного оппонента большевистской революции превратился в ее адепта, как только решил, что в Советской власти он нашел обещание «овладение временем», то есть искусственного производства вечности. Он также рассматривал искусство как модель для политики. И он также рассматривал искусство как единственную технологию, способную победить время. Поэтому он призывал отречься от чистого «символического» искусства и использовать искусство, чтобы превратить все общество, весь космос и само время в произведения искусства. Глобальная, централизованная, единая политическая власть является обязательным условием для решения такой задачи – к такой власти он и призывал. Однако Муравьев был готов идти дальше в интерпретации человека как произведения искусства, чем многие другие авторы. Муравьев понимал воскрешение как логичное следствие из практики копирования; еще до Бенямина Муравьев заявлял, что для процесса технического копирования нет различия между «оригинальной человеческой личностью» и ее копией⁹. Тем самым Муравьев стремился очистить понятие человеческой личности от пережитков метафизического и религиозного сознания, которые еще оставались у Федорова и биокосмистов. Для Муравьева человек – это всего лишь специфическое сочетание тех или иных химических элементов, точно так же, как и любая другая вещь в мире. Поэтому Муравьев надеялся, что в будущем половые различия будут уничтожены и будет создан неполовой, полностью искусственный метод воспроизводства человеческих существ. Тем самым

⁵ Декларативная резолюция: Креаторий Российских и Московских Анархистов-Биокосмистов // Биокосмист. Москва. 1922. № 1.

⁶ См. Александр Святогор. «Доктрина отцов» и анархизм-биокосмизм. Наст. изд. С. 150, 154.

⁷ Там же. С. 152.

⁸ Там же. С. 153.

⁹ Валериан Муравьев. Овладение временем как основная задача организации труда, издание автора, 1924.

люди будущего будут избавлены от чувства вины перед своими умершими предками: своим существованием они будут обязаны тому же самому технологически организованному государству, которое гарантирует и поддержание их жизни, их бессмертие.

Возможно, эти биополитические проекты были утопическими, поскольку не были основаны на реальном знании биологических процессов, но в то же время, как это часто бывает, они способствовали развитию чисто научных и технических программ. В 1920-е годы таких программ, вдохновленных радикальными биополитическими проектами, было достаточно много. Одними из самых интересных и влиятельных были, без сомнения, исследования в области ракетостроения, которые вел Константин Циолковский. Его целью было разработать транспорт для доставки воскрешенных предков на другие планеты; с этого началась история того, что потом стало советской космонавтикой. Сам Циолковский был адептом космической биополитики и стремился исполнить призыв Федорова к превращению других планет в места обитания воскрешенных отцов. Помимо чисто технических изысканий многие рукописи Циолковского посвящены социальной организации Вселенной. Циолковский твердо верил в творчество, хотя и рассматривал человека в лучших традициях биополитики лишь как физическое тело. Большая часть его текстов посвящена разрешению этого противоречия – оно было центральным для Циолковского. Решение, к которому пришел Циолковский, состояло в том, что человеческий мозг – всего лишь материальная часть Вселенной. Поэтому все процессы, происходящие в мозгу, отражают процессы, происходящие во всей Вселенной: воля отдельной личности есть в то же время воля Вселенной. При этом естественный отбор должен решить, чей мозг лучше выражает волю Вселенной. В этом смысле Циолковский с достаточным скепсисом относился к перспективе выживания человечества как вида. Он считал, что «высшие существа» вправе и даже обязаны уничтожить «низших существ», как садовники пропалывают свои огороды; и он не исключал возможности, что человечество – это низшие существа¹⁰. Это подтверждает тезис Фуко о том, что современная биополитика также способна принести смерть, если она начинает тематизировать расовые различия¹¹.

Еще один показательный, хотя и не оказавший такого влияния, биополитический эксперимент проводил в 1920-е годы Александр Богданов, основатель и директор Института переливания крови. В молодости Богданов был близким соратником Ленина и сооснователем интеллектуально-политического движения в рядах Российской социал-демократической партии, которое впоследствии привело к созданию партии большевиков. Однако позднее он отошел от политики; Ленин резко критиковал принятие Богдановым позитивистской философии Эрнста Маха. После революции Богданов управлял знаменитым Пролеткультом, поддерживая идею превращения традиционной культуры в «жизнестроительную» практику. Со временем мысль Богданова стала двигаться в направлении активной биополитики. Тогда же он заинтересовался экспериментами с переливанием крови: он надеялся, что переливание крови способно затормозить или вовсе остановить процесс старения. Предполагалось, что переливания крови от молодых пожилым омолодят пожилых и обеспечат солидарность и равновесие поколений – а это Богданов считал обязательным для справедливого социалистического общества. От одного из таких переливаний он умер. Теоретические и литературные тексты Богданова особенно интересны тем, что в них проекты всемирной организации сочетаются с сомнениями в способности человеческой природы послужить достаточно солидным фундаментом для реализации этих проектов. В романе Богданова «Красная звезда» герой восстает против коммунистического марсианского общества, когда начинает подозревать, что оно может составить угрозу земному человечеству: голос крови и расы оказывается сильнее идеологической лояльности. В рассказе «Праздник бессмертия» герой восстает против монотонности вечной жизни

¹⁰ Константин Циолковский. Гений среди людей, в: «Воля Вселенной», Москва, 2002. С. 224–231.

¹¹ Foucault. Society Must Be Defended, pp. 254 ff.

и кончает жизнь самоубийством. Но даже страшная боль, которую он испытывает перед смертью, переживается им лишь как повторение уже изведенного – утопия вечной жизни превращается здесь в дистопию ницшеанского вечного возвращения.

Надо сказать, что телесное бессмертие обычно воспринималось христианской культурой как проклятие. Достаточно тут вспомнить фигуру Франкенштейна или Голема. Роман Брэма Стокера «Дракула» (написанный, кстати, в 1897 году, почти одновременно с «Философией общего дела» Федорова) описывает мир вампиров также не как утопию, а как дистопию. «Человеческие» герои романа изо всех сил защищают свое право на естественную смерть. Однако с тех пор в западной массовой культуре к вампирам и зомби стали относиться намного лучше. С каждым следующим романом или фильмом вампиры и зомби, то есть бессмертные тела, продолжающие жить на земле после смерти бестелесной «души», выглядят все более привлекательно. Лишенное веры в бессмертие души, современное человечество все больше очаровывается перспективой телесного бессмертия. И этот поворот осуществляется не только в массовой культуре, о чем свидетельствуют недавние дискуссии о постгуманизме. В исторической перспективе теории русского космизма представляются началом этой переоценки ценности телесного бессмертия – переоценки, которая не завершена и по сей день.

Предлагаемый вниманию читателя сборник текстов русского космизма не претендует на полноту. Целью сборника является не столько открытие новых авторов и тем, сколько подбор текстов, дающих представление о преемственности идей русского космизма и в то же время о разнообразии его индивидуальных трактовок. Я не могу здесь высказать свою благодарность всем тем, кто прямо или косвенно способствовал моей работе над этим сборником. Но все же я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы искренне поблагодарить Михаила Хагемейстера (Michael Hagemeister), с которым мы в 2005 году выпустили на немецком языке сборник «Die Neue Menschheit. Biopolitische Utopien in Russland des 20. Jahrhunderts», работа над которым была мной учтена при составлении данного сборника.

Николай Федоров

Музей, его смысл и назначение

Наш век, гордый и самолюбивый (т. е. «цивилизованный» и «культурный»), желая выразить презрение к какому-либо произведению, не знает другого, более презрительного выражения, как *«сдать его в архив, в музей...»* Уже по этому можно судить, насколько искренна благодарность потомства, например, к гениям-изобретателям, да и вообще к предкам, к которым обыкновенно так жестоки бывают современники. Во всяком случае почтение, выраженное «музейски», в нынешнем смысле этого слова, не лишено лицемерия и заключает в себе двусмысленность; а потому музей, в смысле презрения, и музей, в смысле почтения, это такое противоречие, которое нуждается в разрешении¹².

Должно однако заметить, что презрение к сдаваемому в архив совершенно неосновательно и происходит оттого, что наш век решительно неспособен сознавать свои недостатки. Если бы он не был лишен этой способности, то, конечно, признал бы не позорною, а истинно почетною сдачу в музей, например, первого парохода, который до этой сдачи занимался, быть может, перевозкою негров или же перевозкою мануфактурного вздора и стал затем негоден к употреблению для этой цели. И возможно ли найти, придумать для этого парохода или вообще для чего бы то ни было, для каких бы то ни было произведений такое употребление, вынужденное прекращение которого могло бы вызвать сожаление? Такое употребление было бы несомненно выше, а не ниже бездействия, составляющего участь всего сдаваемого в музей!. Перевозка или доставка, например, хлеба?!. Но хлеб перевозится из села в город; торг же города с селом – не братский обмен, служить которому было бы почетно. Точно так же и перевозка войска не братское дело!.. И тем не менее, если музей есть только хранилище, хотя бы даже почетное, то сдача в него, как в могилу, хотя бы и сопровождаемая художественным или ученым, т. е. мертвым, восстановлением, не может заключать в себе ничего хорошего, и в этом случае уничтожительное значение, которое ему придается, имеет основание. Но если сдача в архив, как только в хранище, заслуживает презрения, а мертвое восстановление не удовлетворяет живых существ, то и оставаться в жизни такой, какова она есть, также не почетно: покой и смерть, вечный разлад и борьба – одинаковое зло; и лицемерие неизбежно, пока музей – только хранилище, только – мертвое восстановление, а жизнь – только борьба.

А между тем хранилище все расширяется, тем больше, чем энергичнее становится борьба, усиление которой столь же несомненно. Понятно, что век, называющий себя прогрессивным, будет тем обильнее, тем богаче «сдачами» в музей, чем он вернее своему названию века прогресса. Прогресс, правильнее сказать, борьбу, поставляющую столько жертв музею, избавляющему сдаваемое в него от небратской деятельности, можно было бы не считать носящею боль и смертоносною, если бы каждое произведение не имело своего автора-творца и если бы прогресс не был вытеснением живого. Но прогресс есть именно производство мертвых вещей, сопровождаемое вытеснением живых людей; он может быть назван истинным, действительным адом, тогда как музей, если и есть рай, то еще только проективный, так как он есть

¹² В таком же противоречии с самим собою находится и Кремль, из которого возникает Музей и в который сам он превращается. Кремль впадает в вопиющее противоречие, когда, защищаясь от во всем себе подобных, от тех, которые, как существа словесные, созданы для соглашения, он не защищается от силы неподобной, с коею соглашение невозможно. Но противоречие становится еще более ужасным, когда люди, не сознавая его, делают орудием слепой смертоносной силы и не только истребляют друг друга, но и уничтожают даже прах предков, хранимый кремлями, вместо того, чтобы, сознав свою взаимную вину, объединиться для обращения самой смертоносной силы в живую в видах возвращения жизни праху убитых ею. В этих противоречиях и заключается вопрос о небратстве, о вражде к отцам и о средствах к восстановлению всеобщего родства. Нужно, чтобы всенародные кремли, становясь всенаучными музеями, обращали бы слепую силу разрушения в силу воссозидательную.

собираение под видом старых вещей (ветоши) душ отшедших, умерших. Но эти души открываются лишь для имеющих душу. Для музея человек бесконечно выше вещи; для посада же, для фабричной цивилизации и культуры вещь выше человека. Музей есть последний остаток культа предков; он – особый вид этого культа, который, изгоняемый из религии (как это видим у протестантов), восстанавливается в виде музеев. Выше ветоши, сохраняемой в музеях, только самый прах, самые останки умерших, как и выше музея – только могила, если сам музей не станет перенесением праха в город или же превращением кладбища в музей.

Наш век глубоко благоговееет перед прогрессом и его полным выражением выставкою, т. е. перед борьбою, вытеснением, и, конечно, пожелает вечного существования вытеснения, именуемого прогрессом, этого совершенствования, которое никогда не сделается даже настолько совершенным, чтобы уничтожить ту боль, которою это совершенствование, как и всякая борьба, необходимо сопровождается. И никак уже не дерзнет наш век представить себе, что самый прогресс сделается когда-либо достоянием истории, а эта могила, музей, станет восстановлением жертв прогресса в ту пору, когда борьба заменится согласием, объединением в деле восстановления, в котором единственно и могут примириться партии прогрессистов и консерваторов, борющиеся от начала истории.

Второе противоречие современного музея заключается в том, что век, ценящий лишь полезное, собирает и хранит бесполезное. Музеи служат оправданием XIX веку; существование их в этот железный век доказывает, что совесть еще не совершенно исчезла. Иначе и понять нельзя хранения в нынешнем все-продажном, грубо-утилитарном веке, как нельзя постигнуть и высокой непродажной ценности вещей негодных, вышедших из употребления. Сохраняя вещи вопреки своим эксплуататорским наклонностям, наш век, хотя и в противоречие с собою, еще служит неведомому Богу¹³. Но сохранится ли это уважение к памятникам прошедшего при дальнейшем прогрессе, при увеличении искусственных потребностей, признаваемых необходимыми, при усиливающейся заботе только о настоящем? Египтяне в нужде закладывали мумии своих предков, несмотря на то, что в их представлении такой заклад равнялся ухудшению судьбы предков; наше же время, при дальнейшем прогрессе, может и совсем оставить все, относящееся к нашим предкам, всякие о них памятники; но вместе с тем человек, утратив самое чувство и понятие родства, перестанет уже быть существом нравственным, т. е. достигнет полного буддийского бесстрастия; для него не будет уже ничего дорогого, а общество сделается воистину муравейником, который также, впрочем, способен к «прогрессу»!

Однако уничтожить музей нельзя: как тень, он сопровождает жизнь, как могила, стоит за всем живущим. Всякий человек носит в себе музей, носит его даже против собственного желания, как мертвый придаток, как труп, как угрызения совести; ибо хранение – закон коренной, предшествовавший человеку, действовавший еще до него. Хранение есть свойство не только органической, но и неорганической природы, а в особенности, – природы человеческой. Люди жили, т. е. ели, пили, судили, решали дела и сдавали их, полагая оконченными, в архив¹⁴, вовсе не думая при этом о смерти и об утратах; в действительности же оказывалось, что сдача дел в архив и перенесение всяких останков жизни в музей были передачею в высшую инстанцию, в область исследования, в руки потомков, одному или нескольким поколениям, смотря по положению, по состоянию, в котором исследование находится, смотря и по тому, какого значения и распространенности исследование достигло. Высшей степени же своей оно достигнет

¹³ Любители кажущейся свежести называют вышедшие из употребления вещи ветошью, забывая, что если вышедшее из употребления стало ветошкою, то лишь потому, что при самом употреблении, изначала, оно было уже тряпкою. Только то не будет тряпкою, что заключает в себе силу противодействовать превращению в ветошь и гниль, а, вместе, обладает и умением, т. е. вытекающею из ума мощью всегда восстанавливать свежесть. Только воссозданное заключает в себе силу противодействия разрушению; прогресс же лишь придает благолепие тлению.

¹⁴ Или же остатки жизни, деятельности сами собою делались достоянием музеев, как кухонные, например, отбросы даже доисторических времен, попавшие в музеи.

тогда, когда сами решавшие дела будут и исследователями их, т. е. сделаются членами музея; иначе сказать, когда исследование делается совокупным самоисследованием и таким образом приведет к тому, что за смертью воскрешение будет следовать непосредственно. Эта инстанция – не суд, ибо по всему сданному сюда, в музей, восстанавливает и искупляется жизнь, но никто не осуждается. Музей есть собрание всего отжившего, мертвого, негодного для употребления; но именно потому-то он и есть надежда века, ибо существование музея показывает, что нет дел конченных; потому музей и представляет утешение для всего страждущего, что он есть высшая инстанция для юридино-экономического общества. Для музея самая смерть – не конец, а только начало; подземное царство, что считалось адом, есть даже особое специальное ведомство музея. Для музея нет ничего безнадежного, «отпетого», т. е. такого, что оживить и воскресить невозможно; для него и мертвых носят с кладбищ, даже с доисторических; он не только поет и молится, как церковь, он еще и работает на всех страждущих, для всех умерших! Только для одних жаждающих мщения в нем нет утешения, ибо он – не власть и, заключая в себе силу восстанавливающую, бессилён для наказания: ведь воскресить можно жизнь, а не смерть, не лишение жизни, не убийство! Музей есть высшая инстанция, которая должна и может возвращать жизнь, а не отнимать ее.

Кремль, превращенный в музей, есть выражение всей души, полноты и согласия всех способностей, отсутствие внутреннего разлада, выражение единства, мира душевного и радости, т. е. всего того, чего именно недостает нашему прогрессивному веку; музей и есть *«свышний мир»*. Когда музей был храмом, т. е. силою регулирующею, поддерживающею жизнь предков (по крайней мере в представлении людей), тогда воля, выражавшаяся в этом (т. е. в храмовом), хотя и мнимом действии, была согласна с разумом, оправдавшим, признавшим это мнимое действие за действительное. Тогда и разум не отделялся от памяти, а действию поминаения, нынешнему обряду, придавалось реальное значение; тогда память была не хранилищем только, а и восстановлением, хотя и мнимым и только мысленным, конечно, но все же служившим действительною гарантией сохранения отечества, общего происхождения, братства. Когда же разум отделяется от памяти об отцах, тогда он становится отвлеченным изысканием причин явлений, т. е. философией. Не отделенный от памяти об отшедших, он есть искание не отвлеченных причин, а отцов; разум, так направленный, становится проектом воскрешения. Лингвистические исследования подтверждают это первоначальное единство способностей: один и тот же корень оказывается в словах (арийских, но, вероятно, и других языков), выражающих и память (притом память именно об отцах, об умерших), и разум, и вообще душу, и, наконец, всего человека. Подтверждают единство памяти и разума также психологические исследования позитивистов, сводящие процессы знания к закону памяти, ассоциации, волю же обращающие в регулятора действий. А потому мы и можем сказать, что от памяти, т. е. от всего человека, родились музы и музей; иначе сказать, как лингвистические, так и психологические исследования убеждают нас, что муза и музей современны самому человеку, они родились вместе с его сознанием. Следовательно, цель музея не может быть иною, чем цель хоровода и храма предков, в который и превратился хоровод, т. е. солнцевод, возвращавший солнце на лето, возбуждавший жизнь во всем, что замерло зимою. Разница здесь будет лишь в способе действия, который в хороводе и храме не имел действительной силы; действие же музея должно иметь силу, действительно возвращающую жизнь, дающую ее. Это и будет, когда музей возвратится к самому праху и создаст орудия, регулирующие разрушительные, умерщвляющие силы природы, управляющие ими.

Мы не преувеличим, конечно, если скажем, что музей, как выражение всей души, возвратит нам мир душевный, лад внутренний, даст нам радость, которую чувствует отец при возвращении блудного сына. Болезнь века и заключается именно в отрешении от прошлого, от общего дела всех поколений, что и лишило нашу жизнь смысла и цели, а в литературе породило Фаустов, Дон-Жуанов, Каинов и вообще мятежные типы, а в философии – субъективизм и

солипсизм. Когда не было разлада между способностями, тогда не было разъединения и между религиею (как культом предков), наукою и искусством (бывших также небесными и земными, как и подземными). Как сам человек был тогда цельным, здоровым существом, так не было разделения и в области знания и деятельности, не сокращавших своих областей, не ограничивавших их лишь настоящим, удовлетворением лишь животных хотений, как делается это ныне ради выделения от религии, из вражды к ней. Первые мудрецы (еще не философы) были астрономами, поклонниками, вероятно, музы Урании, т. е. не только естествоиспытателями в нынешнем значении этого слова, но и антропологами и теологами, так что мудрец и астроном были словами однозначными, а мудрость заключалась именно в астрономии, которая обнимала все божеское и человеческое, небесное и земное, умершее и живущее, была не знанием лишь отвлеченных, но познанием, а вместе и почитанием отцов-предков. Вопрос о смерти человека, о конце или разрушении мира есть вопрос и тео-, и космо-антропологический, или, что-то же, вопрос астрономический. Он не мог произойти из праздного любопытства, потому что в то время не было еще людей, живших исключительно знанием кабинетных ученых; не мог явиться этот вопрос из праздного любопытства и потому, что знание тогда не отделялось еще от действия, хотя и воображаемого, границ которому не видели, потому что не умели еще отделять собственного действия от действия природы. Ионийские мудрецы усомнились только в средстве действия, в реальности действия мифического, которое, как принималось тогда, обращало небо в жилище умерших, а потому и искали не только ту стихию, в которую все возвращается, из которой все возникает, но и силу, которою все держится, все управляется. Но ведь и нынешняя наука не имеет права жить для себя, и она должна считать себя средством или исследованием для открытия истинного способа действия взамен мифического, художественного, считать же себя знанием лишь для знания и освободить себя от обязательной службы общему делу наука не имеет права. Если для нынешнего человека и покажется такое требование, такое посягательство на свободу личности возмутительным, то это – от дикой привычки считать свободу личности безусловною в век, когда, однако, не признается ничего безусловного. Право на такую свободу есть только право жить по своим капризам, обращать жизнь в мелочную и пустую, а затем в отчаянии спрашивать: «жизнь, зачем ты мне дана?»

Вот почему на основании единства знания и действия и астрономы-специалисты не имеют права уклоняться от обязательной службы, от долга, данного человеку при самом его появлении, как не имеют этого права и все естествоиспытатели, науки коих составляют лишь выделение из небесной науки, отвлечение от науки о вселенной. На том же основании и обсерватория есть такая же необходимая принадлежность всенаучного музея, как внешние чувства, органы восприятия, необходимы каждому человеку для его внутреннего чувства и памяти. Но под обсерваторией мы разумеем орган науки не отвлеченной, а астрономии физической, химической науки обо всем веществе, органическом и неорганическом, растительном, животном и человеческом, так что человечество (которое только в совокупности составит истинный музей) из обсерватории наблюдает всю вселенную – с внешней стороны, а самого человека – со стороны антропологической. Обсерватория наблюдает мир, который, можно сказать, слит с памятью об умерших, о прошлом; прошедшее же составляет предмет истории. Началом обсерватории был гно́мон, изобретение которого приписывают ионийским мудрецам. Первобытный человек определял время, вероятно, по собственной тени, в позднейшее же время, в городском быту, гно́мон заменил этот способ определения времени; это было орудие измерения своих действий и вообще прожитого, потому-то часы (преимущественно песочные) и стали атрибутом смерти. С помощью гно́мона создал человек и календарь, в котором отмечал не только времена оживления природы (праздники) и замирания ее, но и дни кончины отцов, т. е. дни поминовения предков, потому-то музей, как создание памяти об отцах и обо всем, что связано

с ними и с прошедшим, неотделим от обсерватории¹⁵. Астрономический календарь был вместе и термическим, оптическим и, вообще, физическим и химическим, ибо все силы природы, и особенно сила биологическая, органическая, изменяются по частям дня и временам года.

Воспитательное значение обсерватории как школы требует, чтобы праздное глазенье обратилось в обязательное наблюдение, чтобы небу было дано столько наблюдателей, сколько в нем звезд. Платонизирующее христианство старалось мысль держать «горе», но, чтобы мысль не падала «долу», нужно глаза поднять к небу, нужно созерцание обратить в наблюдение.

Итак, обсерватория относится к музею, как внешние чувства (совокупность которых, т. е. всех способов наблюдения или органов восприятия, и есть обсерватория) относятся к разуму, но к разуму в обширнейшем или, вернее, в настоящем, действительном его смысле и значении, к разуму, который не может быть отделен от памяти об отцах, а составляет с нею одно неразделимое целое, к такому разуму, которым обладает только сын человеческий, возведенный вообще в критерий человечности в умственном и нравственном отношении.

Музей же, объединяющий сынов человеческих для всеобщего исследования неба или вселенной, относится к обсерватории не как хранилище лишь летописей и фотографических снимков с неба, звезд и вообще с естественно-исторических наблюдений, ибо для астрономической обсерватории нет прошедшего, как нет его и для движения солнечной системы, которое есть не прошедшее, а продолжающееся явление, открываемое по изменению положения звезд, почему астрономам и необходимо памятовать, содержать, так сказать, в себе положения звезд, внесенные в самые ранние каталоги. Здесь, таким образом, память сливается с разумом, а прошедшее с настоящим до того, что смерть наблюдателей является только сменой часовых, устрояющих регуляцию мира или по крайней мере открывающих путь к установлению управления миром. Бессилие установить регуляцию и лишало человека возможности удерживать и восстанавливать жизнь. Нет прошедшего и вообще для естествознания, так как само оно – только представление человеческим родом природы, или (что-то же) проект управления ею, приводимый в лице музея объединенным человеческим родом в исполнение. Музей, таким образом, есть учреждение историческое в смысле не только знания, но и действия: как естествознание, он есть астрономия с объединенными в ней физическими науками; с другой же стороны и само естествознание – та же история, она – проект регуляции, приводимый в исполнение.

Но музей и с обсерваториею, производящую только рекогносцировку, остается пока организмом без органов действия, без рук и ног, потому что человечество в совокупности неспособно до сих пор не только к действию, но и к передвижению, если только не принимать за таковое перемещение земли, совершающееся независимо от человека. Этот организм (музей с обсерваториею) и останется без рук, если город и село пребудут разъединенными, в силу чего естественно-исторический музей останется вне естественного процесса природы, не будет разумом его и самые воспоминания, хранимые музеем, не будут действительным, материальным воскрешением, как и воля не будет регулятором природы. По причине этого именно разъединения города с селом и сосредоточения всей умственной жизни в первом, природа и кажется нам неуловимою; мы же природу обвиняем, будто она скрывает себя от нас. Не вернее ли сказать, что сами мы не открываем ее по нашему недосужеству, занятые мануфактурным производством и всем тем, что с ним связано. По недосужеству мы не умеем приготовить наблюдателей и исследователей, потому что с детства закабливаем их на фабрику для удовлетворения наших ничтожнейших прихотей. Точно так же несправедливо будет сказать, что природа не дает нам ходу и, прикрепив к земле, сделала нас бессильными в устройении регуляции. Все эти жалобы так же справедливы, как справедлива была бы раньше жалоба на

¹⁵ Вышка, как простейшая, первоначальная обсерватория, есть необходимая, естественная принадлежность музея, потому что музей есть произведение существа, принявшего вертикальное, к небу обращенное положение, которое враждою, небратством превращается в сторожевое, от неба отрешенное положение, ждущее нападения от себе подобных, а у неба просящее избавления.

то, что природа лишила нас возможности переплыть океан, пока это не удалось Колумбу. И в настоящее время, в фотографических, например, изображениях солнца, нам дано, надо полагать, все, по чему мы можем составить себе полное понятие о том, что такое солнце, и уже наша вина, что до сих пор мы не сумели еще воспользоваться всеми этими, имеющимися у нас данными, доселе не сумели прочитать их.

Астрономия, воссоединив неестественно отвлеченные и незаконно отделенные от нее, забывшие свое происхождение науки, как физику и химию неорганического и органического вещества (ибо может быть физика и химия земель или планет, солнц, междупланетных и междусолнечных пространств, но защищать независимость, отдельность этих наук могут только люди, не признающие общего дела человеческого рода) – астрономия будет обращаться к астрорегуляции, а человеческий род станет астрономом-регулятором, в чем и состоит его естественное назначение.

Не только физика и химия и вообще естественные науки, но и философия есть лишь отвлечение от астрономии. Первые философы или мудрецы были астрономы; храм был первым изображением мира¹⁶; земля считалась основанием и первым элементом бытия. Но для философа, не мудреца, а лишь любителя, виртуоза мудрости, для философа в буквальном значении этого слова, земля уже – не основание, не стихия. Для Анаксимандра, например, она – метеор и остается неподвижной, вследствие равного расстояния от границ вселенной. Таким образом начинало созидаться коперниканское мировоззрение; небо было не только верхом, но и низом, оно обняло собою землю. Теоретически искание причины, а практически – отыскание опоры, поддержки есть необходимое выражение существа, принявшего неустойчивое, вертикальное положение. Тот же вопрос об опоре относится и к целой земле. Если мы припомним, что через всю почти историю непрерывно проходит опасение за разрушимость земли, за кончину мира, то и становится понятным, почему этот вопрос об опоре, о причине мира, остается всегда открытым. Какой громадный переворот должен был произойти в воззрениях, когда Анаксимандр на место твердой опоры, фундамента, или даже жидкой, как принимал Фалес, оставил землю в центре без всякой осязательной поддержки, соединив понятие о низе с окружностью мира, понятие же о верхе с центром земли; понадобилось создать целую новую физику, новое представление о падении тел. Анаксимен принял за опору мира и за первый элемент воздух, который он считал душою и космоса, и человека. Пифагор стал уже Коперником древнего мира, но все же в этом мире торжество осталось за системою Птолемея. Впрочем, Коперниканская система не удержится и в новом мировоззрении, если не получит практического значения.

Отвлечение философии от астрономии сделало непонятным самый вопрос об основе, опоре, причине. Философия, отыскивая смысл всего, не знала своего происхождения, своего *raison d'être* [право на существование, разумное основание (фр.)], утратила и смысл своего существования. Страх разрушения мира, сомнения в прочности его вызвали к существованию науку об условиях устойчивости вселенной, сохранения ее и восстановления из первоэлемента. Астрономия искала *неразрушимого*, из которого может быть все восстановлено. Но сама астрономия родилась из упадка религии, которая всегда считает себя обладательницей способа сохранения и восстановления мира. В вопросе о поддержании и восстановлении становятся понятными и физика, и химия, и сама философия.

Постоянные раздоры дали вопросу о мире и об обществе первое место и затмили основной, всеобщий вопрос. История, имея предметом вечные раздоры, выделилась в особую науку; но пока она будет повествовать о человеке как раздорнике, пока будет смотреть на жизнь чело-

¹⁶ Человек не может не творить подобий, подобия необходимы для уяснения представления и отчасти для доказательства; и если секуляризованный и секуляризующийся храм есть музей, то армиллярные сферы, глобусы (державы) были также началом музея.

веческого рода, как она ныне есть, только как на факт, не задаваясь вопросом, чем она должна быть, т. е. проектом будущей жизни, до тех пор человечество не опознает в астрономии, в космическом искусстве или в мировой регуляции своего общего дела.

Чтобы иметь мир внутренний и лад душевный, без которого невозможен и мир внешний, нужно быть не врагами своих предков, а действительно благодарными их потомками; не достаточно ограничиваться поминовением только внутренним, культом лишь умерших, нужно, чтобы все живущие, объединяясь по-братски в храме предков или музее, который имеет своими органами не обсерваторию лишь, но и астрономический регулятор, обратили бы слепую силу природы в управляемую разумом. Тогда не будет царствовать бесчувственное, не будет оно лишать жизни чувствующее, тогда будет восстановлено и все чувствовавшее, в воскрешенных поколениях объединятся все миры и откроется безграничное поприще для их союзной деятельности, и только она сделает внутренний разлад ненужным и невозможным.

Астрономия, взятая отвлеченно от физики и других естественных наук, может иметь приложение только к определению мест на земле и к мореходному искусству в особенности. Отвлеченная физика имеет приложение к промышленности, к искусственному делу. И только физика в смысле метеорологии, как физика земной планеты и других небесных миров, т. е. астрономическая физика или физическая астрономия, может иметь практическое приложение к регуляции метеорической. Можно, конечно, объединить естествознание и в физике, как знании о природе, о рожденном, но такое объединение было бы полным отречением от всякого приложения естествознания к практической жизни, или же в таком случае естествознание станет служить увеличению лишь наслаждений, и, следовательно, не только не будет служением *всеобщему* благу и *всем*, ибо исключает умерших, но не обнимает даже и всех живущих, так как, увеличивая материальные наслаждения, оно в то же время усилит внутренние страдания и внесет глубокий разлад в жизнь. Естествознание же в форме астрономии не может иметь приложения к корыстным целям ни для большинства, ни для меньшинства, оно может быть только регулятором падения, т. е. стать опорой мира; вместо внешних поддержек и подпорок оно может сделаться внутренним регулятором, противодействующим распадению, разрушению, может стать связью, т. е. ввести взаимообщение небесных миров, и таким образом восстановить жизнь, ибо только космическое разобщение было коренною причиною смерти, смены поколений. Только одновременно могут начаться два великие дела, в сущности составляющие одно дело: с одной стороны, естественные науки должны объединиться в форме астрономии для того, чтобы их общее исследование стало раскрытием способа и плана мировой регуляции; с другой же стороны, должно начаться собирание всех сил всех людей для осуществления плана регуляции, т. е. должно начаться превращение городской воинской повинности, предназначенной для борьбы с себе подобными, в сельскую для обращения смертоносной силы природы в живоносную.

Музей в смысле древних (от коих мы и заимствовали это учреждение) есть собор ученых; его деятельность есть исследование. Но в этом определении и заключалось бессилие музея; этим определением он сам себе поставил преграды для распространения. Поэтому музей и в христианском мире остался языческим: он одинаково ограничил себя и по объему, и по содержанию, так как исследование стало отвлеченным, школьным и сам музей-собор остался замкнутою школою, сословием. Музей-собор будет наполняться, а собирание сделается всеобщим только тогда, когда самосознание будет не просто исследованием, а изучением причин разобщения ученых и неученых, причин, препятствующих всем сделаться членами музея, что, конечно, входит в вопрос о всеобщем родстве. Тогда и знание будет столь же неограниченно, как всеобщее собирание, т. е. собор будет действительно вселенским, а знание в высшей своей стадии уничтожит, как сказано, разобщение миров восстановлением всех прошедших поколений.

Музей есть *не собрание вещей, а собор лиц*; деятельность его заключается не в накоплении мертвых вещей, а в возвращении жизни останкам отжившего, в восстановлении умерших, по их произведениям, живыми деятелями. Знание отвлеченное не может быть всеобщей обязанностью, знание же причин, делающих нас врагами, не может не быть долгом для всех, так как оно не может остаться только знанием, а станет делом, религиею, примиренною с наукою. Разобщение и распадение есть факт не только человеческой, но и физической природы; и распадение в последней совершенно понятно, неизбежно, необходимо, если разобщение существует в первой. Распадение обусловлено слепотою естественной силы и объясняется леностью, бездействием разумных существ, по какому-то недоразумению также в слепоте пребывающих. Однако разобщение не может быть безусловным и всемогущим потому уже, что мы в себе ощущаем стремление и силу общения, собирания, восстановления, религия, наука, искусство, все это – силы собирающие; но, взятые в отдельности, они немощны, а между тем в настоящее время они существуют только в отдельности! Религия приняла напутственный молебен, крестное знамение, полагаемое пред начатием дела, за самое дело; но молитва, предназначенная быть выражением всей религии, не поддержанная общим делом, превращалась из молитвы, выходящей из сердца, от всей души, в молитву, произносимую одними устами. Сердце, озабоченное настоящим, злобою дня, стало далеким от Бога, и не приблизится к Нему, пока самая деятельность не станет делом Божиим, всеобщим, исследованием и устранением причин небратского состояния, т. е. тех же самых причин, которые заставляют нас оставлять дело отеческое, дело Отца Небесного. Только дело дает религии жизнь, душу, иначе она будет лишь словом, и притом словом суетным, а не Божьим делом. Нужно же обратить внимание на причины, по коим религия, произведя подъем духа, никогда не могла удержать людей на той высоте, на которую поднимала их.

Наука, исследование, с своей стороны, хочет жить или для себя, или только для настоящего. Но какое имеет она право отказываться от человеческого дела, будучи сама делом людей, или же суживать, ограничивать свою деятельность одним настоящим, когда она сама – дело не одних живущих? Может ли быть признано нормальным такое положение, при котором исследование, свойство и отправление разума делается достоянием одного класса, а не всех разумных существ? Какое имеем мы право ради благосостояния промышленности, удовлетворяющей не нужды наши, а лишь прихоти, приостанавливать обучение для огромного большинства в том возрасте, когда разум только что вступает в силу? Имеет ли право музей оставаться, по древнему определению, собором лишь ученых, трапезою только для знаменитых людей всей земли, как он называется автором жизни Аполлония Тианского, вместо того, чтобы быть всеобщей евхаристиею знания?.. По-христиански музей, очевидно, – не собор только ученых, а собрание всех; назначение музея быть «ловцом человеков». Исследование же, т. е. наука, не может уже оставаться только отвлеченным знанием; она должна сделаться исследованием причин, препятствующих всем нам быть членами музея, исследователями, и соединиться воедино для отеческого дела. Христианство не коснулось еще музея, всеобщее собрание еще не признано его обязанностью. Музей в его современном положении не соответствует даже и человеческой природе, которая разум делает общим свойством всех людей, тогда как исследование считается пока все еще принадлежностью только одного класса, интеллигенции, большинству же оставляется только низшая сила рассудок, хитрость, которой не лишены и животные. Музей в настоящее время – не собор даже и ученых, ибо ученые общества опять составляют отдельные учреждения или по крайней мере нераздельность их с музеем не признается еще необходимостью. Музеи не составляют даже и одного Музея, они не достигли единства даже и в этом отношении, хотя такое единство необходимо для музея, чтобы не противоречить его сущности, ибо нынешние музеи, как собрания только вещественного, – коллекции чисто случайные. Какое могут иметь значение передача вещей, «сдача оконченных дел», построение памятников, если все это совершается не по определенному плану, не в видах достижения ясно наме-

ченной цели, а по какому-то роковому закону, на который мысль человеческая не обращала, по-видимому, даже внимания и из которого она во всяком случае не сделала предмета исследования и знания. Мысль человеческая не составила и проекта собирания в видах достижения полноты его, чтобы избавить будущие поколения от необходимости разыскивать то, что должно бы быть сохранено и что, однако, исчезло, хотя трудности таких разысканий мы ежедневно чувствуем. До сих пор остается загадкой, почему одно сохраняется, а другое исчезает, хотя и в самой слепой природе есть, по-видимому, стремление к сохранению. Музеи скорее рождаются, чем создаются, потому что едва ли отдается вполне отчет в побуждениях, которыми руководствуются при учреждении музеев. Итак, музеи суть явления случайные, неповсеместные; рост каждого из них неправильный, непостоянный, не непрерывный, а внутреннее распределение предметов в них представляет скорее случайный сброд, чем правильное собирание; так что определение, которое можно дать нынешнему музею, будет более идеальное, чем соответствующее действительности, хотя и это идеальное определение далеко не будет соответствовать тому, чем должен быть музей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.